

А. Куприн

Памяти Чехова

Он между нами жил...

Бывало, в раннем детстве, вернешься после долгих летних каникул в пансион. Все серо, казарменно, пахнет свежей масляной краской и мастикой, товарищи грубы, начальство недоброжелательно. Пока день — еще крепишься кое-как, хотя сердце нет-нет — и сожмется внезапно от тоски. Занимают встречи, поражают перемены в лицах, оглушают шум и движение.

Но когда настанет вечер и возня в полутемной спальне уляжется, — о, какая нестерпимая скорбь, какое отчаяние овладевают маленькой душой! Грызешь подушку, подавляя рыдания, шепчешь милые имена и плачешь, плачешь жаркими слезами, и знаешь, что никогда не насытишь ими своего горя. И вот тогда-то понимаешь впервые весь потрясающий ужас двух неумолимых вещей: невозвратимости прошлого и чувства одиночества. Кажется, что сейчас же с радостью отдал бы всю остальную жизнь, перенес бы всяческие мучения за один только день того светлого, прекрасного существования, которое никогда не повторится. Кажется, ловил бы каждое милое, заботливое слово и заключал бы его навсегда в памяти, впивал бы в душу медленно и жадно, капля по капле, каждую ласку. И жестоко терзаешься мыслью, что по небрежности, в суете и потому, что время представлялось неисчерпаемым, — ты не воспользовался каждым часом, каждым мгновением, промелькнувшим напрасно.

Детские скорби жгучи, но они растают во сне и исчезнут с завтрашним солнцем. Мы, взрослые, не чувствуем их так страстно, но помним дольше и скорбим глубже. Вскоре после похорон Чехова, возвращаясь с панихиды, бывшей на кладбище, один большой писатель сказал простые, но полные значения слова:

— Вот похоронили мы его, и уже проходит безнадежная острота этой потери. Но понимаете ли вы, что навсегда, до конца дней наших, останется в нас ровное, тупое, печальное сознание, что Чехова нет?

И вот теперь, когда его нет, особенно мучительно чувствуешь, как драгоценно было каждое его слово, улыбка, движение, взгляд, в которых светилась его прекрасная, избранная, аристократическая душа. Жалеешь, что не всегда был внимателен к тем особенным мелочам, которые иногда сильнее и интимнее говорят о внутреннем человеке, чем крупные дела. Упрекаешь себя в том, что из-за толкотни жизни не успел запомнить, записать много интересного, характерного, важного. И в то же время знаешь, что эти чувства разделяют с тобою все те, кто был близок к нему, кто истинно любит его, как человека несравненного душевного изящества и красоты, кто с вечной признательностью будет чтить его память, как память одного из самых замечательных русских писателей.

К любви, к нежной и тонкой печали этих людей я обращаю настоящие строки.

I

Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом, глубоко под белой и пыльной аутской дорогой. Не знаю, кто ее строил, но она была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте. Вся белая, чистая, легкая, красиво несимметричная, построенная вне какого-нибудь определенного архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой сверху, с разбросанными то широкими, то узкими окнами, — она походила бы на здания в стиле модерн, если бы в ее плане не чувствовалась чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкус. Дача стояла в углу сада, окруженная цветником. К саду, со стороны, противоположной шоссе, примыкало отделенное низкой стенкой старое,

заброшенное татарское кладбище, всегда зеленое, тихое и безлюдное, со скромными каменными плитами на могилах.

Цветничок был маленький, далеко не пышный, а фруктовый сад еще очень молодой. Росли в нем груши и яблони-дички, абрикосы, персики, миндаль. В последние годы сад уже начал приносить кое-какие плоды, доставляя Антону Павловичу много забот и трогательного, какого-то детского удовольствия. Когда наступало время сбора миндальных орехов, то их снимали и в чеховском саду. Лежали они обыкновенно маленькой горкой в гостиной на подоконнике, и, кажется, ни у кого не хватало жестокости брать их, хотя их и предлагали.

А.П. не любил и немного сердился, когда ему говорили, что его дача слишком мало защищена от пыли, летящей сверху, с аутского шоссе, и что сад плохо снабжен водою. Не любя вообще Крыма, а в особенности Ялты, он с особенной, ревливой любовью относился к своему саду. Многие видели, как он иногда по утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серой стволы роз или выдергивал сорные травы из клумб. А какое бывало торжество, когда среди летней засухи наконец шел дождь, наполнявший водою запасные глиняные цистерны!

Но не чувство собственника сказывалось в этой хлопотливой любви, а другое, более мощное и мудрое сознание. Как часто говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами:

— Послушайте, при мне здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место. Знаете ли? — прибавлял он вдруг с серьезным лицом, тоном глубокой веры. — Знаете ли, через триста-четырееста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна.

Эта мысль о красоте грядущей жизни, так ласково, печально и прекрасно отозвавшаяся во всех его последних произведениях, была и в жизни одной из самых его душевных, наиболее лелеемых мыслей. Как часто, должно быть, думал он о будущем счастья человечества, когда по утрам, один, молчаливо подрезывал свои розы, еще влажные от росы, или внимательно осматривал раненный ветром молодой побег. И сколько было в этой мысли кроткого, мудрого и покорного самозабвения!

Нет, это не была заочная жажда существования, идущая от ненасытного человеческого сердца и цепляющаяся за жизнь, это не было — ни жадное любопытство к тому, что будет после меня, ни завистливая ревность к далеким поколениям. Это была тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, непомерно страдавшей от пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, дикости — от всего ужаса и темноты современных будней. И потому-то под конец его жизни, когда пришла к нему огромная слава и сравнительная обеспеченность, и преданная любовь к нему всего, что было в русском обществе умного, талантливого и честного, — он не замкнулся в недосягаемости холодного величия, не впал в пророческое учительство, не ушел в ядовитую и мелочную вражду к чужой известности. Нет, вся сумма его большого и тяжелого житейского опыта, все его огорчения, скорби, радости и разочарования выразились в этой прекрасной, тоскливой, самоотверженной мечте о грядущем, близком, хотя и чужом счастье.

— Как хороша будет жизнь через триста лет!

И потому-то он с одинаковой любовью ухаживал за цветами, точно видя в них символ будущей красоты, и следил за новыми путями, пролагаемыми человеческим умом и знанием. Он с удовольствием глядел на новые здания оригинальной постройки и на большие морские пароходы, живо интересовался всяким последним изобретением в области техники и не скучал в обществе специалистов. Он с твердым убеждением говорил о том, что преступления, вроде убийства, воровства и прелюбодеяния, становятся все реже, почти исчезают в настоящем интеллигентном обществе, в среде учителей,

докторов, писателей. Он верил в то, что грядущая, истинная культура облагородит человечество.

Рассказывая о чеховском саде, я позабыл упомянуть, что посредине его стояли качели и деревянная скамейка. И то и другое осталось от «Дяди Вани», с которым Художественный театр приезжал в Ялту, приезжал, кажется, с исключительной целью показать больному тогда А.П.-чу постановку его пьесы. Обоиими предметами Чехов чрезвычайно дорожил и, показывая их, всегда с признательностью вспоминал о милом внимании к нему Художественного театра. Здесь у места также упомянуть, что эти прекрасные артисты своей исключительной деликатной чуткостью к чеховскому таланту и дружной преданностью ему самому много скрасили последние дни незабвенного художника.

II

Во дворе жили: ручной журавль и две собаки. Надо заметить, что Антон Павлович очень любил всех животных, за исключением, впрочем, кошек, к которым он питал непреодолимое отвращение. Собаки же пользовались его особым расположением. О покойной Каштанке, о мелиховских таксах Броне и Хине он вспоминал так тепло и в таких выражениях, как вспоминают об умерших друзьях. «Славный народ — собаки!» — говорил он иногда с добродушной улыбкой.

Журавль был важная, степенная птица. К людям он относился вообще недоверчиво, но вел тесную дружбу с Арсением, набожным слугой Антона Павловича. За Арсением он бегал всюду, по двору и по саду, причем уморительно подпрыгивал на ходу и махал растопыренными крыльями, исполняя характерный журавлиный танец, всегда смешивший Антона Павловича.

Одну собаку звали Тузик, а другую — Каштан, в честь прежней, исторической Каштанки, носившей это имя. Ничем, кроме глупости и лени, этот Каштан, впрочем, не отличался. По внешнему виду он был толст, гладок и неуклюж, светло-шоколадного цвета, с бессмысленными желтыми глазами. Вслед за Тузиком он лаял на чужих, но стоило его поманить и почмокать ему, как он тотчас же переворачивался на спину и начинал угодливо извиваться по земле. Антон Павлович легонько отстранял его палкой, когда он лез с нежностями, и говорил с притворной суровостью:

— Уйди же, уйди, дурак... Не приставай... И прибавлял, обращаясь к собеседнику, с досадой, но со смеющимися глазами:

— Не хотите ли, подарю пса? Вы не поверите, до чего он глуп.

Но однажды случилось, что Каштан, по свойственной ему глупости и неповоротливости, попал под колеса фаэтона, который раздавил ему ногу. Бедный пес прибежал домой на трех лапах, с ужасающим воем. Задняя нога вся была исковеркана, кожа и мясо прорваны почти до кости, лилась кровь. Антон Павлович тотчас же промыл рану теплой водой с сулемой, присыпал ее йодоформом и перевязал марлевым бинтом. И надо было видеть, с какой нежностью, как ловко и осторожно прикасались его большие милые пальцы к ободранной ноге собаки и с какой сострадательной укоризной бранил он и уговаривал визжавшего Каштана:

— Ах ты, глупый, глупый... Ну как тебя угораздило?... Да тише ты... легче будет... дурачок...

Приходится повторить избитое место, но несомненно, что животные и дети инстинктивно тянулись к Чехову. Иногда приходила к А.П. одна больная барышня, приводившая с собою девочку лет трех-четырех, сиротку, которую она взяла на воспитание. Между крошечным ребенком и пожилым, грустным и больным человеком, знаменитым писателем, установилась какая-то особенная, серьезная и доверчивая дружба. Подолгу сидели они рядом на скамейке, на веранде; А.П. внимательно и сосредоточенно слушал, а она без умолку лепетала ему свои детские смешные слова и путалась ручонками в его бороде.

С большой и сердечной любовью относились к Чехову и все люди попроще, с которыми он сталкивался: слуги, разносчики, носильщики, странники, почтальоны, — и не только с любовью, но и с тонкой чуткостью, с бережностью и с пониманием. Не могу не рассказать здесь одного случая, который передаю со слов очевидца, маленького служащего в «Русском о-ве пароходства и торговли», человека положительного, немногословного и, главное, совершенно непосредственного в восприятии и передаче своих впечатлений.

Это было осенью. Чехов, возвращавшийся из Москвы, только что приехал на пароходе из Севастополя в Ялту и еще не успел сойти с палубы. Был промежуток той сумятицы, криков и бестолочи, которые всегда поднимаются вслед за тем, как опустят сходни. В это-то суматошное время татарин-носильщик, всегда услуживавший А. П-чу и увидевший его еще издали, раньше других успел взобраться на пароход, разыскал вещи Чехова и уже готовился нести их вниз, как на него внезапно налетел бравый и свирепый помощник капитана. Этот человек не ограничился одними непристойными ругательствами, но в порыве начальственного гнева ударил бедного татарина по лицу.

«И вот тогда произошла сверхъестественная сцена, — рассказывал мой знакомый. — Татарин бросает вещи на палубу, бьет себя в грудь кулаками и, вытаращив глаза, лезет на помощника. И в то же время кричит на всю пристань:

— Что? Ты бьешься? Ты думаешь, ты меня ударил? Ты — вот кого ударил!

И показывает пальцем на Чехова. А Чехов, знаете ли, бледный весь, губы вздрагивают. Подходит к помощнику и говорит ему тихо так, отдельно, но с необычайным выражением: «Как вам не стыдно!» Поверите ли, ей-богу, будь я на месте этого мореплавателя, — лучше бы мне двадцать раз в морду плюнули, чем услышать это “как вам не стыдно”. И на что уж моряк был толстокож, но и того проняло: заметался-заметался, забормотал что-то и вдруг испарился. И уж больше его на палубе не видели».

III

Кабинет в ялтинском доме у А.П. был небольшой, шагов двенадцать в длину и шесть в ширину, скромный, но дышавший какой-то своеобразной прелестью, Прямо против входной двери — большое квадратное окно в раме из цветных желтых стекол. С левой стороны от входа, около окна, перпендикулярно к нему — письменный стол, а за ним маленькая ниша, освещенная сверху, из-под потолка, крошечным оконцем; в нише — турецкий диван. С правой стороны, посередине стены — коричневый кафельный камин; наверху, в его облицовке, оставлено небольшое, не заделанное плиткой местечко, и в нем небрежно, но мило написано красками вечернее поле с уходящими вдаль стогами — это работа Левитана. Дальше, по той же стороне, в самом углу — дверь, сквозь которую видна холостая спальня Антона Павловича, — светлая, веселая комната, сияющая какой-то девической чистотой, белизной и невинностью. Стены кабинета — в темных с золотом обоях, а около письменного стола висит печатный плакат: «Просят не курить». Сейчас же возле входной двери направо — шкаф с книгами. На камине несколько безделушек и между ними прекрасно сделанная модель парусной шхуны. Много хороших вещей из кости и из дерева на письменном столе; почему-то преобладают фигуры слонов. На стенах портреты — Толстого, Григоровича, Тургенева. На отдельном маленьком столике, на веерообразной подставке, множество фотографий артистов и писателей. По обоим бокам окна спускаются прямые, тяжелые темные занавески, на полу большой, восточного рисунка, ковер. Эта драпировка смягчает все контуры и еще больше темнит кабинет, но благодаря ей ровнее и приятнее ложится свет из окна на письменный стол. Пахнет тонкими духами, до которых А.П. всегда был охотник. Из окна видна открытая подковообразная лощина, спускающаяся далеко к морю, и самое море, окруженное амфитеатром домов. Слева же, справа и сзади громоздятся полукольцом горы. По вечерам, когда в гористых окрестностях Ялты зажигаются огни и когда во мраке эти огни и звезды над ними так близко сливаются, что не отличаешь их

друг от друга,— тогда вся окружающая местность очень напоминает иные уголки Тифлиса...

Всегда бывает так: познакомишься с человеком, изучишь его наружность, походку, голос, манеры, и все-таки всегда можешь вызвать в памяти его лицо таким, каким его видел в самый первый раз, совсем другим, отличным от настоящего. Так и у меня, после нескольких лет знакомства с А.П., сохранился в памяти тот Чехов, каким я его увидел впервые, в общей зале «Лондонской» гостиницы в Одессе. Показался он мне тогда почти высокого роста, худощавым, но широким в костях, несколько суровым на вид. Следов болезни в нем тогда не было заметно, если не считать его походки, — слабой и точно на немного согнутых коленях. Если бы меня спросили тогда, на кого он похож с первого взгляда, я бы сказал: «на земского врача или на учителя провинциальной гимназии». Но было в нем также что-то простоватое и скромное, что-то чрезвычайно русское, народное — в лице, в говоре и в оборотах речи, была также какая-то кажущаяся московская студенческая небрежность в манерах. Именно такое первое впечатление выносили многие, и я в том числе. Но спустя несколько часов я увидел совсем другого Чехова, — именно того Чехова, лицо которого никогда не могла уловить фотография и которое, к сожалению, не понял и не прочувствовал ни один из писавших с него художников. Я увидел самое прекрасное и тонкое, самое одухотворенное человеческое лицо, какое только мне приходилось встречать в моей жизни.

Многие впоследствии говорили, что у Чехова были голубые глаза. Это ошибка, но ошибка до странного общая всем, знавшим его. Глаза у него были темные, почти карие, причем раек правого глаза был окрашен значительно сильнее, что придавало взгляду А.П., при некоторых поворотах головы, выражение рассеянности. Верхние веки несколько нависали над глазами, что так часто наблюдается у художников, охотников, моряков — словом, у людей с сосредоточенным зрением. Благодаря пенсне и манере глядеть сквозь низ его стекол, несколько приподняв кверху голову, лицо А.П. часто казалось суровым. Но надо было видеть Чехова в иные минуты (увы, столь редкие в последние годы), когда им овладевало веселье и когда он, быстрым движением руки сбрасывая пенсне и покачиваясь взад и вперед на кресле, разражался милым, искренним и глубоким смехом. Тогда глаза его становились полукруглыми и лучистыми, с добрыми морщинками у наружных углов, и весь он тогда напоминал тот юношеский известный портрет, где он изображен почти безбородым, с улыбающимся, близоруким и наивным взглядом несколько исподлобья. И вот — удивительно — каждый раз, когда я гляжу на этот снимок, я не могу отделаться от мысли, что у Чехова глаза были действительно голубые.

Обращал внимание в наружности А.П. его лоб — широкий, белый и чистый, прекрасной формы: лишь в самое последнее время на нем легли между бровями, у переносья, две вертикальные, задумчивые складки. Уши у Чехова были большие, некрасивой формы, но другие такие умные, интеллигентные уши я видел еще лишь у одного человека — у Толстого.

Однажды летом, пользуясь добрым настроением Антона Павловича, я сделал с него несколько снимков ручным фотографическим аппаратом. Но, к несчастью, лучшие из них и чрезвычайно похожие вышли совсем бледными, благодаря слабому освещению кабинета. Про другие же, более удачные, сам А.П. сказал, посмотрев на них:

— Ну, знаете ли, это не я, а какой-то француз.

Помнится мне теперь очень живо пожатие его большой, сухой и горячей руки, — пожатие, всегда очень крепкое, мужественное, но в то же время сдержанное, точно скрывающее что-то. Представляю также себе и его почерк: тонкий, без нажимов, ужасно мелкий, с первого взгляда — небрежный и некрасивый, но, если к нему приглядеться, очень ясный, нежный, изящный и характерный, как и все, что в нем было.

IV

Вставал А.П., по крайней мере летом, довольно рано. Никто даже из самых близких людей не видал его небрежно одетым; также не любил он разных домашних вольностей, вроде туфель, халатов и тужурок. В восемь–девять часов его уже можно было застать ходящим по кабинету или за письменным столом, как всегда, безукоризненно, изящно и скромно одетого.

По-видимому, самое лучшее время для работы приходилось у него от утра до обеда, хотя пишущим его, кажется, никому не удавалось заставить: в этом отношении он был необыкновенно скрытен и стыдлив. Зато нередко в хорошие теплые утра его можно было видеть на скамейке за домом, в самом укромном месте дачи, где вдоль белых стен стояли кадки с олеандрами и где им самим был посажен кипарис. Там сидел он иногда по часу и более, один, не двигаясь, сложив руки на коленях и глядя вперед, на море.

Около полудня и позднее дом его начинал наполняться посетителями. В это же время на железных решетках, отделяющих усадьбу от шоссе, висли целыми часами, разинув рты, девицы в белых войлочных широкополых шляпах. Самые разнообразные люди приезжали к Чехову: ученые, литераторы, земские деятели, доктора, военные, художники, поклонники и поклонницы, профессора, светские люди, сенаторы, священники, актеры — и бог знает, кто еще. Часто обращались к нему за советом, за протекцией, еще чаще с просьбой о просмотре рукописи; являлись развязные газетные интервьюеры и просто любопытствующие; были и такие, которые посещали его с единственной целью «направить этот большой, но заблудший талант в надлежащую, идейную сторону». Приходила просящая беднота — и настоящая, и мнимая. Эти никогда не встречали отказа. Я не считаю себя вправе упоминать о частных случаях, но твердо и наверно знаю, что щедрость Чехова, особенно по отношению к учащейся молодежи, была несравненно шире того, что ему позволяли его более чем скромные средства.

Бывали у него люди всех слоев, всех лагерей и оттенков. Несмотря на утомительность такого постоянного человеческого круговорота, тут было нечто и привлекательное для Чехова: он из первых рук, из первоисточников, знакомился со всем, что делалось в данную минуту в России. О, как ошибались те, которые в печати и в своем воображении называли его человеком равнодушным к общественным интересам, к мятущейся жизни интеллигенции, к жгучим вопросам современности. Он за всем следил пристально и вдумчиво; он волновался, мучился, болел всем тем, чем болели лучшие русские люди. Надо было видеть, как в проклятые, черные времена, когда при нем говорили о нелепых, темных и злых явлениях нашей общественной жизни, — надо было видеть, как сурово и печально сдвигались его густые брови, каким страдальческим делалось его лицо и какая глубокая, высшая скорбь светилась в его прекрасных глазах.

Здесь уместно вспомнить об одном факте, который по-моему, прекрасно освещает отношение Чехова к глупостям русской действительности. У многих в памяти его отказ от звания почетного академика, известны и мотивы этого отказа, но далеко не все знают его письмо в академию по этому поводу — прекрасное письмо, написанное с простым и благородным достоинством, со сдержанным негодованием великой души.

«В декабре прошлого года я получил извещение об избрании А.М. Пешкова в почетные академики, и я не замедлил повидаться с А.М. Пешковым, который тогда находился в Крыму, первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его. Затем, немного погодя, в газетах было напечатано, что ввиду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 ст., выборы признаются недействительными, причем было точно указано, что это извещение исходит из Академии наук, а так как я состою почетным академиком, то это извещение частью исходило и от меня. Я поздравлял сердечно, и я же признавал выборы недействительными — такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог. Знакомство с 1035 ст. ничего не объяснило мне. И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно, просить о сложении с меня звания почетного академика.

А. Чехов».

Странно — до чего не понимали Чехова! Он — этот «неисправимый пессимист», — как его определяли, — никогда не уставал надеяться на светлое будущее, никогда не переставал верить в незримую, но упорную и плодотворную работу лучших сил нашей родины. Кто из знавших его близко не помнит этой обычной, излюбленной его фразы, которую он так часто, иногда даже совсем не в лад разговору, произносил вдруг своим уверенным тоном:

— Послушайте, а знаете что? Ведь в России через десять лет будет конституция.

Да, даже и здесь звучал у него тот же мотив о радостном будущем, ждущем человечество, который отозвался во всех его произведениях последних лет.

Надо сказать правду: далеко не все посетители щадили время и нервы А. П-ча, а иные так просто были безжалостны. Помню я один случай, поразительный, почти анекдотически невероятный по тому огромному запасу пошлости и неделикатности, который обнаружило лицо артистического как будто бы звания.

Было хорошее, не жаркое, безветренное летнее утро. А.П. Чувствовал себя на редкость в легком, живом и беспечном настроении. И вот появляется, точно с неба, толстый господин (оказавшийся впоследствии архитектором), посылает Чехову свою визитную карточку и просит свидания. А.П. принимает его. Архитектор входит, знакомится и, не обращая никакого внимания на плакат: «Просят не курить», не спрашивая позволения, закуривает вонючую, огромную рижскую сигару. Затем, отвесив, как неизбежный долг, несколько бульжных комплиментов хозяину, он приступает к приведенному делу.

Дело же заключалось в том, что сынок архитектора, гимназист третьего класса, бежал на днях по улице и, по свойственной мальчикам привычке, хватался на бегу рукой за все, что попадалось: за фонари, тумбы, заборы. В конце концов он напоролся рукой на колючую проволоку и сильно оцарапал ладонь. «Так вот, видите ли, глубокоуважаемый А.П., — заключил свой рассказ архитектор, — я бы очень просил вас напечатать об этом в корреспонденции. Хорошо, что Коля ободрал только ладонь, но ведь это — случай! Он мог бы задеть какую-нибудь важную артерию — и что бы тогда вышло?» — «Да, все это очень прискорбно, — ответил Чехов, — но, к сожалению, я ничем не могу вам помочь. Я не пишу, да никогда и не писал корреспонденции. Я пишу только рассказы». — «Тем лучше, тем лучше! Вставьте это в рассказ, — обрадовался архитектор. — Пропечатайте этого домовладельца с полной фамилией. Можете даже и мою фамилию проставить, я и на это согласен... Или нет... все-таки лучше мою фамилию не целиком, а просто поставьте литеру: господин С. Так, пожалуйста... А то ведь у нас только и осталось теперь два настоящих либеральных писателя — вы и господин П.» (и тут архитектор назвал имя одного известного литературного закройщика).

Я не сумел передать и сотой доли тех ужасающих пошлостей, которые наговорил оскорбленный в родительских чувствах архитектор, потому что за время своего визита он успел докурить сигару до конца, и потом долго приходилось проветривать кабинет от ее зловонного дыма. Но едва он, наконец, удалился, А.П. вышел в сад совершенно расстроенный, с красными пятками на щеках. Голос у него дрожал, когда он обратился с упреком к своей сестре Марии Павловне и к сидевшему с ней на скамейке знакомому:

— Господа, неужели вы не могли избавить меня от этого человека? Прислали бы сказать, что меня зовут куда-нибудь. Он же меня измучил!

Помню также, — и это, каюсь, отчасти моя вина, — как приехал к нему выразить свое читательское одобрение некий самоуверенный штатский генерал, который, желая доставить Чехову удовольствие, начал, широко расставив колени и упершись в них кулаками вывороченных рук, всячески поносить одного молодого писателя, громадная известность которого только еще начинала расти. И Чехов тотчас же сжался, ушел в себя и все время сидел с опущенными глазами, с холодным лицом, не проронив ни одного слова. И только по быстрому укоряющему взгляду, который он бросил при прощании

на знакомого, приведшего генерала, можно было видеть, как много огорчения принес ему этот визит.

Так же стыдливо и холодно относился он и к похвалам, которые ему расточали. Бывало, уйдет в нишу, на диван, ресницы у него дрогнут и медленно опустятся, и уже не поднимаются больше, а лицо делается неподвижным и сумрачным. Иногда, если эти неумеренные восторги исходили от более близкого ему человека, он старался обратить разговор в шутку, свернуть его на другое направление. Вдруг скажет ни с того ни с сего, с легким смешком:

— Ужасно люблю читать, что обо мне одесские репортеры пишут.

— Почему так?

— Смешно очень. Всё врут. Ко мне прошлой весной явился один из них в гостиницу. Просит интервью. А у меня как раз времени не было. Я и говорю: «Извините, я теперь занят. Да, впрочем, пишете, что вздумается. Мне все равно». Ну, уж он и написал. Меня даже в жар бросило.

А однажды он сам с самым серьезным лицом сказал:

— Что вы думаете: меня ведь в Ялте каждый извозчик знает. Так и говорят: «А-а! Чехов? Это который читатель? Знаю». Почему-то называют меня читателем. Может быть, они думают, что я по покойникам читаю? Вот вы бы, батенька, спросили когда-нибудь извозчика, чем я занимаюсь...

V

В час дня у Чехова обедали внизу, в прохладной и светлой столовой, и почти всегда за столом бывал кто-нибудь приглашенный. Трудно было не поддаться обаянию этой простой, милой, ласковой семьи. Тут чувствовалась постоянная нежная заботливость и любовь, но не отягощенная ни одним пышным или громким словом, — удивительная деликатность, чуткость и внимание, но никогда не выходящие из рамок обыкновенных, как будто умышленно будничных отношений. И, кроме того, всегда замечалась истинно чеховская боязнь всего надутого, приподнятого, неискреннего и пошлого.

Было в этой семье очень легко, тепло и уютно, и я совершенно понимаю одного писателя, который говорил, что он влюблен разом во всех Чеховых.

Антон Павлович ел чрезвычайно мало и не любил сидеть за столом, а все, бывало, ходил от окна к двери и обратно. Часто после обеда, оставшись в столовой с кем-нибудь один на один, Евгения Яковлевна (мать А.П.) говорила тихонько, с беспокойной тоской в голосе:

— А Антоша опять ничего не ел за обедом.

Он был очень гостеприимен, любил, когда у него оставались обедать, и умел угощать на свой особенный лад, просто и радушно. Бывало, скажет кому-нибудь, остановившись у него за стулом:

— Послушайте, выпейте водки. Я, когда был молодой и здоровый, любил. Собираешь целое утро грибы, устанешь, едва домой дойдешь, а перед обедом выпьешь рюмки две или три. Чудесно!..

После обеда он пил чай наверху, на открытой террасе, или у себя в кабинете, или спускался в сад и сидел там на скамейке, в пальто и с тросточкой, надвинув на самые глаза мягкую черную шляпу и поглядывая из-под ее полей прищуренными глазами.

Эти же часы бывали самыми людными. Постоянно спрашивали по телефону, можно ли видеть А. П-ча, постоянно кто-нибудь приезжал. Приходили незнакомые с просьбами о карточках, о надписях на книгах. Бывали здесь и смешные курьезы.

Один «тамбовский помещик», как окрестил его Чехов, приехал к нему за врачебной помощью. Тщетно А.П. уверял, что он давно бросил практику и отстал в медицине, напрасно рекомендовал обратиться к более опытному доктору, — «тамбовский помещик» стоял на своем: никаким докторам, кроме Чехова, он не хочет верить. Волей-неволей пришлось дать ему несколько незначительных, совершенно невинных советов. Прощаясь, «тамбовский помещик» положил на стол два золотых и, как его ни уговаривал А.П.,

ни за что не соглашался взять их обратно. Антон Павлович принужден был уступить. Он сказал, что, не желая и не считая себя вправе брать эти деньги как гонорар, он возьмет их на нужды ялтинского благотворительного общества, и тут же написал расписку в их получении. Оказывается, только того и нужно было «тамбовскому помещику». С сияющим лицом, бережно спрятал он расписку в бумажник и тогда уж признался, что единственной целью его посещения было желание приобрести автограф Чехова. Об этом оригинальном и настойчивом пациенте А.П. Рассказывал мне сам — полусмеясь, полусердито.

Повторяю, многие из этих посетителей порядком донимали Чехова и даже раздражали его, но, по свойственной ему изумительной деликатности, он со всеми оставался ровен, терпеливо-внимателен, доступен всем, желавшим его видеть. Эта деликатность доходила порою до той трогательной черты, которая граничит с безволием. Так, например, одна добрая и суетливая дама, большая поклонница Чехова, подарила ему, кажется в день его именин, огромного сидячего мопса, сделанного из раскрашенного гипса, аршина в полтора высотой от земли, то есть раз в пять больше натурального роста. Мопса этого посадили внизу на площадке, около столовой, и он сидел там с разъяренной мордой и оскаленными зубами, пугая всех забывавших о нем своей неподвижностью.

— Знаете, я сам этого каменного пса боюсь, — признавался Чехов. — А убрать его как-то неловко, обидятся. Пусть уж тут живет.

И вдруг, с глазами, загорающимися лучистым смехом, он прибавлял неожиданно, по своему обыкновению:

— А вы заметили, что в домах у богатых евреев такие гипсовые мопсы часто сидят около камина?

В иные дни его просто угнетали всякие хвалители, порицатели, поклонники и даже советчики. «У меня такая масса посетителей, — жаловался он в одном письме, — что голова ходит кругом. Трудно писать». Но все-таки он не оставался равнодушным к искреннему чувству любви и уважения и всегда отличал его от праздной и льстивой болтовни. Как-то раз он вернулся в очень веселом настроении духа с набережной, где он изредка прогуливался, и с большим оживлением рассказывал:

— У меня была сейчас чудесная встреча. На набережной вдруг подходит ко мне офицер-артиллерист, совсем молодой еще, подпоручик. «Вы А.П. Чехов?» — «Да, это я. Что вам угодно?» — «Извините меня за навязчивость, но мне так давно хочется пожать вашу руку!» И покраснел. Такой чудесный малый, и лицо милое. Пожали мы друг другу руки и разошлись.

Всего лучше чувствовал себя А.П. к вечеру, часам к семи, когда в столовой опять собирались к чаю и легкому ужину. Здесь иногда — но год от году все реже и реже — воскресал в нем прежний Чехов, неистощимо веселый, остроумный, с кипучим прелестным юношеским юмором. Тогда он импровизировал целые истории, где действующими лицами являлись его знакомые, и особенно охотно устраивал воображаемые свадьбы, которые иногда кончались тем, что на другой день утром, сидя за чаем, молодой муж говорил вскользь, небрежным и деловым тоном:

— Знаешь, милая, а после чаю мы с тобой оденемся и поедem к нотариусу. К чему тебе лишние заботы о твоих деньгах?

Придумывал он удивительные — чеховские — фамилии, из которых я теперь — увы! — помню только одного мифического матроса Кошкодавленко. Любил он также, шутя, старить писателей. «Что вы говорите, — Бунин мой сверстник, — уверял он с напускной серьезностью. — Телешов тоже. Он уже старый писатель. Вы спросите его сами: он вам расскажет, как мы с ним гуляли на свадьбе у И.А. Белоусова. Когда это было!» Одному талантливому беллетристу, серьезному, идейному писателю, он говорил: «Послушайте же, ведь вы на двадцать лет меня старше. Ведь вы же раньше писали под псевдонимом Нестор Кукольник...»

Но никогда от его шуток не оставалось заноз в сердце, так же как никогда в своей жизни этот удивительно нежный человек не причинил сознательно даже самого маленького страдания ничему живущему.

После ужина он неизменно задерживал кого-нибудь у себя в кабинете на полчаса или на час. На письменном столе зажигались свечи. И потом, когда уже все расходились и он оставался один, то еще долго светился огонь в его большом окне. Писал ли он в это время или разбирался в своих памятных книжках, заноса впечатления дня, — это, кажется, не было никому известно.

VI

Вообще мы почти ничего не знаем не только о тайнах его творчества, но даже и о внешних, привычных приемах его работы. В этом отношении А.П. был до странного скрытен и молчалив. Помню, как-то мимоходом он сказал очень значительную фразу:

— Только спаси вас бог читать кому-нибудь свои произведения, пока они не напечатаны. Даже в корректуре не читайте.

Так он и сам поступал постоянно, хотя иногда делал исключения для жены и сестры. Раньше, говорят, он был щедрее на этот счет.

Это было в то время, когда он писал очень много и очень быстро. Он сам говорил, что писал тогда по рассказу в день. Об этом же рассказывала и Е.Я. Чехова. «Бывало, еще студентом, Антоша сидит утром за чаем и вдруг задумается, смотрит иногда прямо в глаза, а я знаю, что он уж ничего не видит. Потом достанет из кармана книжку и пишет быстро-быстро. И опять задумается...»

Но в последние годы Чехов стал относиться к себе все строже и все требовательнее: держал рассказы по несколько лет, не переставая их исправлять и переписывать, и все-таки, несмотря на такую кропотливую работу, последние корректуры, возвращавшиеся от него, бывали кругом испещрены знаками, пометками и вставками. Для того чтобы окончить произведение, он должен был писать его не отрываясь. «Если я надолго оставлю рассказ, — говорил он как-то, — то уже не могу потом приняться за его окончание. Мне надо тогда начинать снова».

Где он черпал свои образы? Где находил свои наблюдения и сравнения? Где он выковывал свой великолепный, единственный в русской литературе язык? Он никому не поверял и не обнаруживал своих творческих путей. Говорят, после него осталось много записных книжек; может быть, в них со временем найдутся ключи к этим сокровенным тайнам? А может быть, они и навсегда останутся неразгаданными? Кто знает! Во всяком случае, мы должны довольствоваться в этом направлении только осторожными намеками и предположениями.

Я думаю, что всегда, с утра до вечера, а может быть, даже и ночью, во сне и бессоннице, совершалась в нем незримая, но упорная, порою даже бессознательная работа — работа взвешивания, определения и запоминания. Он умел слушать и расспрашивать, как никто, но часто, среди живого разговора, можно было заметить, как его внимательный и доброжелательный взгляд вдруг делался неподвижным и глубоким, точно уходил куда-то внутрь, созерцая нечто таинственное и важное, совершавшееся в его душе. Тогда-то А.П. и делал свои странные, поражавшие неожиданностью, совсем не идущие к разговору вопросы, которые так смущали многих. Только что говорили и еще продолжают говорить о неомарксистах, а он вдруг спрашивает: «Послушайте, вы никогда не были на конском заводе? Непременно поезжайте. Это интересно». Или вторично предлагает вопрос, на который только что получил ответ.

Внешней, механической памятью Чехов не отличался. Я говорю про ту мелочную память, которою так часто обладают в сильной степени женщины и крестьяне и которая состоит в запоминании того, кто как был одет, носит ли бороду и усы, какая была цепочка от часов и какие сапоги, какого цвета волосы. Просто эти детали были для него неважны и неинтересны. Но зато он сразу брал всего человека, определял быстро и верно, точно

опытный химик, его удельный вес, качество и порядок и уже знал, как очертить его главную, внутреннюю суть двумя-тремя штрихами.

Однажды Чехов с легким неудовольствием говорил о своем хорошем знакомом, известном ученом, который, несмотря на давнюю дружбу, несколько утеснял А. П-ча своей многословностью. Как только приедет в Ялту, сейчас же является к Чехову и сидит с утра до обеда; в обед уедет к себе в гостиницу на полчаса, а там опять приезжает и сидит до глубокой ночи и все говорит, говорит, говорит... И так каждый день.

И вдруг, быстро обрывая этот рассказ, точно увлекаемый новой, интересной мыслью, А.П. прибавлял оживленно:

— А ведь никто не догадывается, что самое характерное в этом человеке. А я вот знаю. То, что он профессор и ученый с европейским именем, — это для него второстепенное. Главное то, что он считает себя в душе замечательным актером и глубоко верит в то, что только по воле случая он не приобрел на сцене мировой известности. Дома он постоянно читает вслух Островского.

Однажды, улыбаясь своему воспоминанию, он вдруг заметил:

— Знаете, Москва — самый характерный город, в ней все неожиданно. Выходим мы как-то весенним утром с публицистом С-ным из Большого Московского. Это было после длинного и веселого ужина. Вдруг С-н тащит меня к Иверской, здесь же, напротив. Вынимает пригоршню меди и начинает оделять нищих — их там десятки. Сунет копейку и бормочет: «О здравии раба божия Михаила». Это его Михаилом зовут. И опять: «Раба божия Михаила, раба божия Михаила...» А сам в бога не верит... Чудак...

Тут я должен подойти к щекотливому месту, которое, может быть, не всем понравится. Я глубоко убежден в том, что Чехов с одинаковым вниманием и с одинаковым проникновенным любопытством разговаривал с ученым и с разносчиком, с просящим на бедность и с литератором, с крупным земским деятелем, и с сомнительным монахом, и с приказчиком, и с маленьким почтовым чиновником, отсылавшим его корреспонденцию. Не оттого ли у него в рассказах профессор говорит и думает именно как старый профессор, а бродяга как истый бродяга? И не оттого ли у него тотчас же после его смерти отыскалось такое множество «закадычных» друзей, за которых он, по их словам, был готов в огонь и в воду?

Думается, что он никому не раскрывал и не отдавал своего сердца вполне (была, впрочем, легенда о каком-то его близком, любимом друге, чиновнике из Таганрога), но ко всем относился благодушно, безразлично в смысле дружбы и в то же время с большим, может быть, бессознательным интересом.

Свои чеховские словечки и эти изумительные по своей сжатости и меткости черточки брал он нередко прямо из жизни. Выражение «не нравятся мне это», перешедшее так быстро из «Архиерея» в обиход широкой публики, было им почерпнуто от одного мрачного бродяги, полупьяницы, полупомешанного, полупророка. Также, помню, разговорились мы с ним как-то о давно уже умершем московском поэте, и Чехов с яркостью вспомнил и его, и его сожительницу, и его пустые комнаты, и его сенбернара Дружка, страдавшего вечным расстройством желудка. «Как же, отлично помню, — говорил А.П., весело улыбаясь, — в пять часов к нему всегда входила эта женщина и спрашивала: “Лиодор Иваныч, а Лиодор Иваныч, а что, вам не пора пиво пить?”» Я тогда же неосторожно сказал: «Ах, так вот откуда это у вас в “Палате № 6”». «Ну да, оттуда», — ответил А.П. с неудовольствием.

Были у него также знакомые из тех средостенных купчих, которые, несмотря на миллионы, и на самые модные платья, и на внешний интерес к литературе, говорили «едеял», «принципально». Иные из них часами изливались перед Чеховым: какие у них необыкновенно тонкие, «нервные» натуры и какой бы замечательный роман мог сделать «гинеяльный» писатель из их жизни, если бы все рассказать. А он ничего, сидел себе и молчал, и слушал с видимым удовольствием, — только под усами у него скользила чуть заметная, почти неуловимая улыбка.

Я не хочу сказать, что он *искал*, подобно многим другим писателям, моделей. Но мне думается, что он всюду и всегда видел материал для наблюдений, и выходило у него это поневоле, может быть, часто против желания, в силу давно изоощренной и никогда не искоренимой привычки вдумываться в людей, анализировать их и обобщать. В этой сокровенной работе было для него, вероятно, все мучение и вся радость вечного бессознательного процесса творчества.

Ни с кем не делился он своими впечатлениями, так же как никому не говорил о том, что и как собирается он писать. Также чрезвычайно редко сказывался в его речах художник и беллетрист. Он, отчасти нарочно, отчасти инстинктивно, употреблял в разговоре обыкновенные, средние, общие выражения, не прибегая ни к сравнениям, ни к картинам. Он берег свои сокровища в душе, не позволяя им расточаться в словесной пене, и в этом была громадная разница между ним и теми беллетристами, которые рассказывают свои темы гораздо лучше, чем их пишут.

Происходило это, думаю, от природной сдержанности, но также и от особенной стыдливости. Есть люди, органически не переносящие, болезненно стыдящиеся слишком выразительных поз, жестов, мимики и слов, и этим свойством А.П. обладал в высшей степени. Здесь-то, может быть, и кроется разгадка его *кажущегося* безразличия к вопросам борьбы и протеста и равнодушия к интересам злободневного характера, волновавшим и волнующим всю русскую интеллигенцию. В нем жила боязнь пафоса, сильных чувств и неразлучных с ними несколько театральных эффектов. С одним только я могу сравнить такое положение: некто любит женщину со всем пылом, нежностью и глубиной, на которые способен человек тонких чувств, огромного ума и таланта. Но никогда он не решится сказать об этом пышными, выпренными словами и даже представить себе не может, как это он станет на колени, и прижмет одну руку к сердцу, и как заговорит дрожащим голосом первого любовника. И потому он любит и молчит, и страдает молча, и никогда не отважится выразить то, что развязно и громко, по всем правилам декламации, изъясняет фат среднего пошиба.

VII

К молодым, начинающим писателям Чехов был неизменно участлив, внимателен и ласков. Никто от него не уходил подавленным его огромным талантом и собственной малозначительностью. Никому никогда не сказал он: «Делайте, как я, смотрите, как я поступаю». Если кто-нибудь в отчаянии жаловался ему: «Разве стоит писать, если на всю жизнь останешься «нашим молодым» и «подающим надежды», — он отвечал спокойно и серьезно:

— Не всем же, батенька, писать, как Толстой.

Внимательность его бывала иногда прямо трогательной. Один начинающий писатель приехал в Ялту и остановился где-то за Ауткой, на окраине города, наняв комнатуху в шумной и многочисленной греческой семье. Как-то он пожаловался Чехову, что в такой обстановке трудно писать, — и вот Чехов настоял на том, чтобы писатель непременно приходил к нему с утра и занимался у него внизу, рядом со столовой. «Вы будете внизу писать, а я сверху, — говорил он со своей очаровательной улыбкой. — И обедать будете также у меня. А когда кончите, непременно прочтите мне, или, если уедете, пришлите хотя бы в корректуре».

Читал он удивительно много и всегда все помнил и никого ни с кем не смешивал. Если авторы спрашивали его мнения, он всегда хвалил, и хвалил не для того, чтобы отвязаться, а потому, что знал, как жестоко подрезает слабые крылья резкая, хотя бы и справедливая, критика и какую бодрость и надежду вливает иногда незначительная похвала. «Читал ваш рассказ. Чудесно написано», — говорил он в таких случаях грубоватым и задушевым голосом. Впрочем, при некотором доверии и более близком знакомстве, и в особенности по убедительной просьбе автора, он высказывался, хотя и с осторожными оговорками, но определеннее, пространнее и прямее. У меня хранятся два его письма,

написанные одному и тому же беллетристу по поводу одной и той же повести. Вот выдержка из первого:

«Дорогой М., повесть получил и прочел, большое вам спасибо. Повесть хороша, прочел я ее в один раз, как и предыдущую, и получил одинаковое удовольствие...»

Но так как автор не удовлетворялся одной похвалой, то вскоре он получил от А. П. другое письмо:

«Вы хотите, чтобы я говорил только о недостатках, и этим ставите меня в затруднительное положение. В этой повести недостатков нет, и если можно не соглашаться, то лишь с особенностями ее, некоторыми. Например, героев своих, актеров, вы трактуете по старинке, как трактовались они уже лет сто всеми писавшими о них, — ничего нового. Во-вторых, в первой главе вы заняты описанием наружностей — опять-таки по старинке, описанием, без которого можно обойтись. Пять определенно изображенных наружностей утомляют внимание и в конце концов теряют свою ценность. Бритые актеры похожи друг на друга, как ксендзы, и остаются похожими, как бы старательно вы ни изображали их. В-третьих, грубоватый тон, излишества в изображении пьяных. Вот и все, что я могу вам сказать в ответ на ваш вопрос о недостатках; больше уж ничего придумать не могу».

К тем из писателей, с которыми у него возникала хоть какая-нибудь духовная связь, он всегда относился бережно и внимательно. Никогда он не упускал случая сообщить известие, которое, он знал, будет приятно или полезно.

«Дорогой М., — писал он одному знакомому, — сим извещаю вас, что вашу повесть читал Л.Н. Толстой и что она ему *очень* понравилась. Будьте добры, пошлите ему вашу книжку по адресу: Кореиз, Таврич. губ., и в заглавии подчеркните рассказы, которые вы находите лучшими, чтобы он, читая, начал с них. Или книжку пришлите мне, а я уж передам ему».

К пишущему эти строки он также проявил однажды милую любезность, сообщив письмом, что «в “Словаре русского языка”, издаваемом Академией наук, в шестом выпуске второго тома, который (то есть выпуск) я сегодня получил, показались, наконец, и Вы. Так, на странице такой-то» и т. д.

Все это, конечно, мелочи, но в них сквозит так много участия и заботливости, что теперь, когда нет уже больше этого изумительного художника и прекрасного человека, его письма приобретают значение какой-то далекой, невозвратимой ласки.

— Пишите, пишите как можно больше, — говорил он начинающим беллетристам.— Не беда, если у вас не совсем выходит. Потом будет выходить лучше. А главное — не тратьте понапрасну молодости и упругости: теперь вам только и работать. Смотрите: вот вы пишете чудесно, а лексикон у вас маленький. Нужно набираться слов и оборотов, а для этого необходимо писать каждый день.

И он сам неустанно работал над собой, обогащая свой прелестный, разнообразный язык отовсюду: из разговоров, из словарей, из каталогов, из ученых сочинений, из священных книг. Запас слов у этого молчаливого человека был необычайно громаден.

— Слушайте: ездите почаще в третьем классе, — советовал он. — Я жалею, что болезнь мешает мне теперь ездить в третьем классе. Там иногда услышишь замечательно интересные вещи.

Удивлялся он также тем писателям, которые по целым годам не видят ничего, кроме соседнего брандмауэра из окон своих петербургских кабинетов. И часто он говорил с оттенком нетерпения:

— Не понимаю, отчего вы — молодой, здоровый и свободный — не поедете, например, в Австралию (Австралия была почему-то его излюбленной частью света) или в Сибирь? Как только мне станет получше, я непременно опять поеду в Сибирь. Я там был, когда ездил на Сахалин. Вы и представить себе не можете, батенька, какая это чудесная страна. Совсем особое государство. Знаете, я убежден, что Сибирь когда-нибудь совершенно отделится от России, вот так же, как Америка отделилась от метрополии. Поезжайте же, поезжайте туда непременно...

— Отчего вы не напишете пьесу? – спрашивал он иногда. – Да напишите же, в самом деле. Каждый писатель должен написать по крайней мере четыре пьесы.

Но тут же он соглашался, что драматический род сочинений теряет с каждым днем интерес в наше время. «Драма должна или выродиться совсем, или принять совсем новые, невиданные формы, – говорил он. – Мы себе и представить не можем, чем будет театр через сто лет».

Бывали у А.П. иногда маленькие противоречия, которые в нем казались особенно привлекательными и в то же время имели глубокий внутренний смысл. Так было однажды с вопросом о записных книжках. Чехов только что с увлечением убеждал нас не обращаться к их помощи, полагаясь во всем на память и на воображение. «Крупное само останется, – доказывал он, – а мелочи вы всегда изобретете или отыщете». Но вот спустя час кто-то из присутствующих, прослуживший случайно год на сцене, стал рассказывать о своих театральные впечатлениях и, между прочим, упомянул о таком случае. Идет дневная репетиция в садовом театре маленького провинциального городка. Первый любовник, в шляпе и в клетчатых панталонах, руки в карманах, расхаживает по сцене, рисуясь перед случайной публикой, забредшей в зрительную залу. Энженю-комик, его «театральная» жена, тоже находившаяся на сцене, обращается к нему: «Саша, как это ты вчера напевал из “Паяцев”? Насвищи, пожалуйста». Первый любовник поворачивается к ней, медленно меряет ее с ног до головы уничтожающим взором и говорит жирным актерским голосом: «Что-о? Свистать на сцене? А в церкви ты будешь свистать? Так знай же, что сцена — тот же храм!»

После этого рассказа А.П. сбросил пенсне, откинулся на спинку кресла и захохотал своим громким, ясным смехом. И тотчас же полез в боковой ящик стола за записной книжкой. «Постойте, постойте, как вы это рассказывали? Сцена — это храм?..» И записал весь анекдот.

В сущности, даже и противоречия во всем этом не было, и сам А.П. потом объяснил это: «Не надо записывать сравнений, метких черточек, подробностей, картин природы — это должно появиться само собой, когда будет нужно. Но голый факт, редкое имя, техническое название надо занести в книжку — иначе забудется, рассеется».

Нередко вспоминал Чехов те тяжелые минуты, которые ему доставляли редакции серьезных журналов до той поры, пока с легкой руки «Северного вестника» он не завоевал их окончательно.

— В одном отношении вы все должны быть мне благодарны, – говорил он молодым писателям. – Это я открыл путь для авторов мелких рассказов. Прежде, бывало, принесешь в редакцию рукопись, так ее даже читать не хотят. Только посмотрят с пренебрежением. «Что? *Это* называется — произведением? Да ведь *это* короче воробьиного носа. Нет, нам таких *штучек* не надо». А я вот добился и другим указал дорогу. Да это еще что, так ли со мной обращались! Имя мое сделали нарицательным. Так и острили, бывало: “Эх, вы, Че-хо-вы!” Должно быть, это было смешно».

Антон Павлович держался высокого мнения о современной литературе, то есть, собственно говоря, о технике теперешнего письма. «Все нынче стали чудесно писать, плохих писателей вовсе нет, – говорил он решительным тоном. – И оттого-то теперь все труднее становится выбиться из неизвестности. И знаете, кто сделал такой переворот? — Мопассан. Он, как художник слова, поставил такие огромные требования, что писать по старинке сделалось уже больше невозможным. Попробуйте-ка вы теперь перечитать некоторых наших классиков, ну хоть Писемского, Григоровича или Островского, нет, вы попробуйте только, и увидите, какое это все старье и общие места. Зато возьмите, с другой стороны, наших декадентов. Это они лишь притворяются больными и безумными, — они все здоровые мужики. Но писать — мастера».

В то же время он требовал от писателей обыкновенных житейских сюжетов, простоты изложения и отсутствия эффектных колленец. «Зачем это писать, – недоумевал он, – что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то

примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто; о том как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все. И потом, зачем эти подзаголовки: психический этюд, жанр, новелла? Все это одни претензии, Поставьте заглавие попроще, — все равно, какое придет в голову, — и больше ничего. Также поменьше употребляйте кавычек, курсивов и тире — это манерно».

Еще учил он, чтобы писатель оставался равнодушен к радостям и огорчениям своих героев. «В одной хорошей повести, — рассказывал он, — я прочел описание приморского ресторана в большом городе. И сразу видно, что автору в диковинку и эта музыка, и электрический свет, и розы в петлицах, и что он сам любит на них. Так — нехорошо. Нужно стоять вне этих вещей, и хотя знать их хорошо, до мелочи, но глядеть на них как бы с презрением, сверху вниз. И выйдет верно».

VIII

Сын Альфонса Додэ в своих воспоминаниях об отце упоминает о том, что этот талантливый французский писатель полушутя называл себя «продавцом счастья». К нему постоянно обращались люди разных положений за советом и за помощью, приходили со своими огорчениями и заботами, и он, уже прикованный к креслу неизлечимой, мучительной болезнью, находил в себе достаточно мужества, терпения и любви к человеку, чтобы войти душой в чужое горе, утешить, успокоить и ободрить. Чехов, конечно, по своей необычайной скромности и по отвращению к фразе, никогда не сказал бы о себе ничего подобного, но как часто приходилось ему выслушивать тяжелые исповеди, помогать словом и делом, протягивать падающему свою нежную и твердую руку. В своей удивительной объективности стоя выше частных горестей и радостей, он все знал и видел. Но ничто личное не мешало его проникновению. Он мог быть добрым и щедрым, не любя, ласковым и участливым — без привязанности, благодетелем — не рассчитывая на благодарность. И в этих чертах, которые всегда оставались неясными для его окружающих, кроется, может быть, главная разгадка его личности.

Пользуясь позволением одного моего друга, я приведу коротенький отрывок из чеховского письма. Дело в том, что этот человек переживал большую тревогу во время первой беременности горячо любимой жены и, по правде сказать, порядочно докучал А.П. своей болью. И вот Чехов однажды написал ему:

«Скажите вашей жене, чтобы не беспокоилась, все обойдется благополучно. Роды будут продолжаться часов 20, а потом наступит блаженнейшее состояние, когда она будет улыбаться, а вам будет хотеться плакать от умиления. 20 часов — это обыкновенный максимум для первых родов».

Какое тонкое внимание к чужой тревоге слышится в этих немногих, простых строчках. Но еще характернее то, что когда впоследствии, уже сделавшись счастливым отцом, этот мой приятель спросил, вспомнив о письме, откуда Чехов так хорошо знает эти чувства, А.П. ответил спокойно, даже равнодушно:

— Да ведь, когда я жил в деревне, мне же постоянно приходилось принимать у баб. *Все равно — и там такая же радость.*

Если бы Чехов не был таким замечательным писателем, он был бы прекрасным врачом. Доктора, приглашавшие его изредка на консультации, отзывались о нем, как о чрезвычайно вдумчивом наблюдателе и находчивом, проницательном диагносте. Да и не было бы ничего удивительного в том, если бы его диагноз оказался совершеннее и глубже диагноза, поставленного какой-нибудь модной знаменитостью. Он видел и слышал в человеке — в его лице, голосе, походке — то, что было скрыто от других, что не поддавалось, ускользало от глаза среднего наблюдателя.

Сам он предпочитал советовать, в тех редких случаях, когда к нему обращались, средства испытанные, простые, по преимуществу домашние. Между прочим, чрезвычайно удачно лечил он детей.

Верил он в медицину твердо и крепко, и ничто не могло пошатнуть этой веры. Помню я, как однажды он рассердился, когда кто-то начал свысока третировать медицину по роману Золя «Доктор Паскаль».

— Золя ваш ничего не понимает и все выдумывает у себя в кабинете, – сказал он, волнуясь и покашливая. – Пусть бы он поехал и посмотрел, как работают наши земские врачи и что они делают для народа.

И кто же не знает, какими симпатичными чертами, с какой любовью сквозь внешнюю жесткость и как часто описывал он этих чудных тружеников, этих неизвестных и незаметных героев, сознательно осуждающих свои имена на забвение? Описывал, даже не щадя их.

IX

Есть изречение: смерть каждого человека на него похожа. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о последних годах жизни Чехова, о последних его днях, даже о последних минутах. Даже в самые его похороны судьба внесла, по какой-то роковой последовательности, много чисто чеховских черт.

Боролся он с неумолимой болезнью долго, страшно долго, но переносил ее мужественно, просто и терпеливо, без раздражения, без жалоб, почти без слов. За последнее время лишь мимоходом, небрежно упоминает он в письмах о своем здоровье. «Здоровье мое поправилось, хотя все еще хожу с компрессом...», «Только что перенес плеврит, но теперь мне лучше...», «Здоровье мое неважно... пишу понемногу...»

Не любил он говорить о своей болезни и сердился, когда его расспрашивали. Только, бывало, и узнаешь что-нибудь от Арсения. «Сегодня утром очень плохо было — кровь шла», – скажет он шепотом, покачивая головой. Или Евгения Яковлевна сообщит по секрету с тоской в голосе:

— А сегодня Антоша опять всю ночь ворочался и кашлял. Мне через стенку все слышно.

Знал ли он размеры и значение своей болезни? Я думаю, знал, но бестрепетно, как врач и мудрец, глядел в глаза надвигающейся смерти. Были разные мелкие обстоятельства, указывавшие на это. Так, например, одной даме, жаловавшейся ему на бессонницу и нервное расстройство, он сказал спокойно, с едва лишь уловимым оттенком покорной грусти:

— Видите ли: пока у человека хороши легкие — все хорошо.

Умер он просто, трогательно и сознательно. Говорят, последние его слова были: «Ich sterbe!». И последние его дни были омрачены глубокой скорбью за Россию, были взволнованы ужасом кровопролитной, чудовищной японской войны...

Точно сон, припоминаются его похороны. Холодный, серенький Петербург, путаница с телеграммами, маленькая кучка народа на вокзале, «вагон для устриц», станционное начальство, никогда не слыхавшее о Чехове и видевшее в его теле только железнодорожный груз... Потом, как контраст, Москва, стихийное горе, тысячи точно осиротевших людей, заплаканные лица. И, наконец, могила на Новодевичьем кладбище, вся заваленная цветами, рядом со скромной могилой «вдовы казака Ольги Кукаретниковой».

Вспоминается мне панихида на кладбище на другой день после его похорон. Был тихий июльский вечер, и старые липы над могилами, золотые от солнца, стояли не шевелясь. Тихой, покорной грустью, глубокими вздохами звучало пение нежных женских голосов. И было тогда у многих в душе какое-то растерянное, тяжелое недоумение.

Расходились с кладбища медленно, в молчании. Я подошел к матери Чехова и без слов поцеловал ее руку. И она сказала усталым, слабым голосом:

— Вот горе-то у нас какое... Нет Антоши...

О, эта потрясающая глубина простых, обыкновенных, истинно чеховских слов! Вся громадная бездна утраты, вся невозвратимость совершившегося события открылась

за ними. Нет! Утешения здесь были бы бессильны. Разве может истощиться, успокоиться горе тех людей, души которых так близко прикасались к великой душе избранника?

Но пусть облегчит их неутолимую тоску сознание, что их горе — и наше общее горе. Пусть смягчится оно мыслью о незабвенности, о бессмертии этого прекрасного, чистого имени. В самом деле: пройдут годы и столетия, и время сотрет даже самую память о тысячах тысяч живущих ныне людей. Но далекие грядущие потомки, о счастье которых с такой очаровательной грустью мечтал Чехов, произнесут его имя с признательностью и с тихой печалью о его судьбе.

1910